

ЛЕД И ПЕПЕЛЬ

роман

1238 уод. Река Сіть.



18+

Алексей Горский

Лёд и пепел

«Автор»

2026

Горский А.

Лёд и пепел / А. Горский — «Автор», 2026

Зима 1238 года. Монгольское войско идёт на север, сжигая города и деревни. Князья не помогают друг другу. Русское войско собирается на реке Сить, чтобы дать последний бой. Три тысячи против двадцати тысяч. Все понимают, что это конец. Но бежать некуда. Сотник Радко идёт на эту битву, зная, что не вернётся. Дома остались жена и двое сыновей. Он не знает, живы ли они. Эта неизвестность хуже смерти. Это книга о крови и снеге. О том, как человек убивает, чтобы выжить. И о том, что происходит с ним после. Никакой мистики. Только зима, кровь и человек, который не хотел умирать.

© Горский А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Земля омытая кровью	5
Конец ознакомительного фрагмента.	9

Алексей Горский

Лёд и пепел

Земля омытая кровью

Снег шёл третьи сутки, и за это время деревня, где стояло войско, перестала быть деревней, превратившись в место, где три тысячи человек ждали своей смерти, и каждый из них знал это, но никто не говорил вслух, потому что произнести такое значило признать, что надежды больше нет. Мелкий, злой, колющий снег не украшал землю, а прятал её, стирал дороги, засыпал костры, заметал следы, и к утру не должно было остаться ни реки, ни поля, ни леса на другом берегу, только белое полотно, на котором кто-то очень большой и очень равнодушный собирался написать историю кровью. Ветер выл в трубах заброшенных изб, забивался в щели, свистел в печных трубах, и в этом вое слышалось что-то человеческое, будто сама смерть примеряла голос, репетировала, готовилась петь свою единственную песню. Дома стояли пустые, потому что крестьяне бежали ещё неделю назад, бросив всё, что нельзя было унести, и теперь скот мычал в запертых хлевах, утварь валялась на полу, иконы остались в красных углах смотреть на разорение, а собаки, которых забыли или не захотели взять, сидели на крыльцах и ждали хозяев, которые никогда не вернутся. Их съели на второй день, и теперь даже лай не нарушал тишину, которая стояла над деревней, тяжёлая и густая, как вода в болоте.

Три тысячи человек лежали вповалку на полу изб, в сараях, под открытым небом у костров, которые не грели, а только жгли глаза едким дымом, и все они молчали, потому что говорить было не о чем, и каждое слово казалось ложью, а ложь перед смертью была грехом, который не искупить. Всё уже было сказано дома, на прощание, когда жёны выли в голос, а дети цеплялись за рукава отцовских рубах, а старики крестили вслед и не могли перекрестить, потому что руки тряслись, и в этих прощаниях было столько боли, что слова казались лишними, и теперь осталась только тишина, в которой каждый слышал свои мысли, и мысли эти были тяжёлые, как камни, и не было от них спасения. Один человек сидел у окна и не спал, глядя в бесконечную белую тьму, и ему было тридцать пять лет, но казалось, что все сто, потому что война старит быстрее, чем время, и он это знал, как знал и то, что этой ночью, возможно, последней в его жизни, ему не суждено уснуть.

Звали его Радко, и когда-то давно, в другой жизни, которая теперь казалась чужой и далёкой, как сон, он был сотником рязанской дружины, а до этого простым дружинником, а до этого мальчишкой, который бегал по улицам Рязани и мечтал о подвигах, о славе, о том, как он вернётся домой победителем и отец посмотрит на него с гордостью, и мать заплачет от счастья, и соседская девчонка, та самая, с веснушками и длинной косой, улыбнётся ему так, как не улыбалась никому. Отец его был кузнецом, человеком тяжёлым и молчаливым, который редко говорил, но всегда делал то, что обещал, и умер он тихо, во сне, за год до того, как Радко впервые взял в руки меч, и мать после его смерти стала совсем другой, постарела, сгорбилась, перестала петь за работой, и умерла через три года, и Радко остался один, и тогда он пошёл в дружину, потому что дома его больше ничего не держало, а война давала то, чего не могла дать мирная жизнь — возможность забыть.

Он воевал с литовцами на западе, ходил в походы на болгар на востоке, усмирал мятежных князей на юге, и за эти годы он убил столько людей, что перестал считать, и видел столько смертей, что перестал бояться, и потерял двух пальцев на левой руке в бою под Пронском, когда молодой литовец ударил его саблей, и он успел отрубить литовцу голову, но пальцы остались на снегу, и он даже не сразу заметил, потому что в бою не чувствуешь боли, боль приходит потом, когда всё кончено, когда ты сидишь у костра и смотришь на свою руку, и понимаешь,

что чего-то не хватает, и это что-то никогда не вернётся. Он женился поздно, в тридцать лет, на женщине по имени Лада, которая была вдовой кузнеца, убитого литовцами, и у неё уже был сын от первого брака, мальчик лет пяти, который сначала боялся Радко, а потом привык, и стал называть отцом, и Радко полюбил его, как своего, а через год у них родился второй сын, и жизнь, казалось, наладилась, вошла в колею, стала простой и понятной, и Радко даже подумывал о том, чтобы уйти из дружины, заняться хозяйством, растить сыновей, состариться рядом с Ладой, умереть в своей постели, окружённым детьми и внуками, и эта мысль казалась ему хорошей и правильной, и он часто думал об этом по вечерам, сидя у огня и глядя на жену, которая что-то шила или готовила, и на сыновей, которые играли на полу, и в эти моменты он чувствовал что-то, чему не знал названия, но что было похоже на счастье.

А потом пришли монголы, и всё это кончилось, оборвалось, как нить, которую перерезали ножом, и Радко снова взял меч, и снова пошёл воевать, и теперь он сидел у окна в заброшенной деревне, и смотрел на снег, и думал о том, что, возможно, никогда больше не увидит ни Ладу, ни сыновей, ни дома, ни своей постели, ни огня в печи, ни утра, ни весны, ни ничего. Он думал о них, и сердце его сжималось, и он не знал, живы ли они, и эта неизвестность была хуже смерти, потому что смерть это точка, конец, тишина, а неизвестность это многоточие, которое длится вечно, которое мучает, которое не даёт покоя ни днём, ни ночью, и от которого невозможно избавиться, потому что оно внутри тебя, в твоих мыслях, в твоём сердце, в твоей крови. Деревня на Проне, где жила Лада с детьми, стояла на пути монголов, и если они прошли через неё, значит, никого не осталось, только пепел и кости, а если не прошли, значит, может быть, ещё дышат, может быть, успели уйти в лес, может быть, прячутся где-то, ждут, надеются, и Радко не знал, и не мог узнать, и от этого хотелось выть, биться головой о стену, рвать на себе волосы, но он не делал этого, потому что был воином, а воины не плачут, воины не кричат, воины просто стискивают зубы и идут дальше, потому что так надо, потому что иначе нельзя, потому что если сломаешься ты, сломаются и те, кто идёт за тобой.

За спиной кто-то кашлял, кто-то молился, кто-то точил нож, тупой и ржавый, бесполезный, и звук металла о камень был как вжик, вжик, вжик, будто отрезали по кусочку от ночи, и Радко слушал этот звук и считал, сколько ещё вжиков до рассвета, и досчитал до ста, потом до двухсот, потом сбился, потом перестал считать и просто сидел, просто смотрел, просто ждал. В соседней избе кто-то пел тихо и протяжно, и голос был молодой и дрожащий, певец не знал слов и мычал мелодию, похожую на колыбельную, и Радко слушал эту мелодию и вспоминал, как Лада пела своим сыновьям перед сном, как они засыпали под её голос, как он сам иногда засыпал, слушая её, и как ему было хорошо в те моменты, тепло и спокойно, и он знал, что это счастье, настоящее счастье, которое даётся не всем и не всегда, и которое он, дурак, не ценил, потому что думал, что так будет всегда, а теперь он сидел у окна в чужой заброшенной деревне и слушал, как умирающий мир поёт свою последнюю песню.

Он встал, вышел на улицу, и снег хрустел под его сапогами, и воздух был колющий, как стекло, и он запрокинул голову и посмотрел на небо, которое было чёрное, без звёзд, без луны, и только снег летел навстречу, белые точки, которые летели из ниоткуда в никуда, и Радко подумал, что, может быть, это души мёртвых, которые поднимаются на небо, или ангелы, которые спускаются на землю, или просто снег, просто вода, которая замёрзла и падает, и нет в этом никакого смысла, и нет в этом никакой тайны, и нет в этом ничего, кроме холода и тишины. Он стоял и смотрел долго, может, час, может, два, не чувствуя времени, потому что время умерло, как и всё остальное, и в соседнем доме кто-то тоже вышел, тоже не спалось, и они посмотрели друг на друга, не узнали, кивнули и разошлись, каждый в свою темноту, каждый в свою ночь, каждый в свою смерть.

В одной из изб старый дружинник по имени Михал, который помнил ещё походы на болгар и которому было уже под шестьдесят, сидел у печи и чинил кольчугу, которая была старая, ржавая, с кольцами, которые лопались под пальцами, и он связывал их кожаными ремешками,

которые сам нарезал из старого сапога, и делал это молча, сосредоточенно, как будто от его работы зависела жизнь, и может быть, действительно зависела. Рядом с ним сидел его сын, молодой парень лет восемнадцати по имени Гридка, который впервые шёл в поход и ещё не знал, что такое настоящая война, и Михал не смотрел на него, но чувствовал его страх, и не знал, что сказать, потому что никакие слова не помогут, когда придёт время, и он просто протянул ему свою старую кольчугу, которую только что починил, и сказал: надень. Гридка надел, и кольчуга была ему велика, но он не сказал ничего, только кивнул, и отец кивнул в ответ, и они сидели молча, и в этой тишине было больше слов, чем в любой речи, и Радко, который зашёл в эту избу, чтобы согреться, увидел их и понял, что это прощание, что Михал знает, что не вернётся, что не защитит сына, что умрёт, и что Гридка тоже умрёт, и что ничего нельзя сделать, ничего нельзя изменить, ничего нельзя исправить, и он вышел, не сказав ни слова, потому что слова были лишними, потому что слова были ложью, потому что слова ничего не значили в этом мире, где всё решали мечи и копья и стрелы и кровь.

В другой избе молодой дружинник по имени Степан писал письмо домой, хотя знал, что не отправит, и он водил палочкой по бересте, выцарапывая буквы, которые получались кривыми и неровными, и слёзы капали на бересту, размывая написанное, и он писал матери, что жив и здоров, что скоро вернётся, что всё будет хорошо, и врал, потому что знал, что не вернётся, и мать знала, что не вернётся, но оба делали вид, что верят, потому что так было легче, потому что правда была слишком страшной, чтобы её принять. Он закончил письмо, свернул бересту, положил за пазуху, ближе к сердцу, и лёг спать, и всю ночь ему снились зелёные луга и дом, который он больше никогда не увидит, и мать, которая стояла у ворот и смотрела ему вслед, и он бежал к ней, но не мог добежать, потому что ноги увязали в снегу, и снег был красный, как кровь, и он проснулся в холодном поту, и понял, что это был не сон, что это была явь, которая ждала его впереди.

К рассвету снег перестал, и небо не посветлело, а просто стало серым, как волчья шерсть, как пепел, как лицо покойника, и люди выходили из домов и строились медленно и неохотно, и оружие звенело, и кто-то уронил шлем, который покатился по мёрзлой земле с гулким звоном, и все вздрогнули, потому что звук был слишком громким в этой тишине, слишком живым. Воевода, седой старик с суровым лицом и жёстким взглядом, объехал строй на тощей лошади, которая хрипела и спотыкалась, и молчал, вглядываясь в лица, искал что-то, может быть, страх, может быть, решимость, может быть, просто искал глаза, которые не отводят взгляд, но не нашёл, потому что все смотрели в землю, в снег, в никуда, и он хотел сказать речь, но открыл рот и закрыл, потому что слова были не нужны, слова были ложью, а врать перед смертью грех, и он дёрнул поводья и уехал, и лошадь поскользнулась на льду, но устояла, и все проводили её взглядом, а потом снова устали в снег и ждали.

Один молодой дружинник начал креститься, раз, два, три, потом снова и снова, и пальцы не попадали на плечи, сбивались, и он крестился и крестился, пока рука не устала, а потом опустил руку и заплакал, и никто не отвернулся, никто не засмеялся, потому что все понимали, все чувствовали то же самое, просто не плакали, пока. Радко стоял в первом ряду рядом с Михалом и Гридкой, и он смотрел на тот берег, где ещё не было видно монголов, но чувствовалось, что они близко, что они где-то там, за лесом, за рекой, за белой пеленой, и что скоро они появятся, и что тогда начнётся то, чего никто не хотел, но чего нельзя было избежать. Михал стоял рядом, беззубый, с обмороженным лицом, и он повернулся к Радко, и посмотрел на него, и улыбнулся щербато и криво, и сказал: ну что, брат, с Богом, и Радко кивнул, потому что голос не слушался, горло сжалось, и он смотрел на тот берег, на чёрную реку всадников, на смерть, которая приближалась медленно и неумолимо, как прилив, и где-то глубоко внутри, под пустотой, под страхом, под всем, шевельнулось что-то, не надежда, не злость, что-то древнее, что-то звериное, желание выжить, любой ценой, и он сжал рукоять меча, и рукоять была

холодная, а ладонь мокрая, и он не знал, что будет дальше, и никто не знал, но все уже понимали, что назад дороги нет, есть только вперёд, в снег, в кровь, в никуда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.